

на экранах телевизоров. Время течет ровно. Почти все пассажиры салона уже спят, а мы с соседом еще бодрствуем, к нам сон почему-то не идет. Космонавт все никак не устроится: то подлокотник ему мешает, то подушечка вывалится из-под головы, а главное, никак не удается парню плед этот превратить в спальную мешок, а ему хочется именно этого. Я к пледу еще не прикоснулся, успеется, меня снова тянет к иллюминатору, хотя за стеклом сейчас немногое увидишь — там ночь, глубины тьмы, и лишь далеко-далеко внизу колыхнется сумеречный мерцающий свет океанских вод.

Сосед никак не приладится к своему прокрустову ложу, ерзает, переворачивается с боку на бок, кутаясь в плед поудобнее.

— Что, никак не устроитесь? — спрашиваю, однако отклика нет.

«Не идет на сближение, — думается мне. — Будто и открытый, доступный, а все же...»

Может, людям его профессии так и положено держаться — в некотором отдалении от остальных? Сквозь щелки острых прищуренных глаз лишь изредка проблеснет краешек его души, чуть лукавой, неуловимой, заполненной тем, что не разглашается. Вроде лежит на нем, на всем его облике некий покров таинственности, этой неисклещаемой удаленности от всех прочих землян... Было ли это и прежде в нем или появилось после того, как он побывал там, где нам быть не довелось, после того, как извездил то, что для прочих землян остается тайной или полутайной? Порог нового познания, он его переступил... По натуре общительный, однако лишнего не скажет, хлопещ себе на уме. Впечатление такое, что он все время сдерживает свою словоохотливость, предстает перед тобой в далеко не полной открытости.

Жаль, конечно, что так получается: представился вот случай ближе познакомиться с человеком из звездных трасс, а он от сближения уходит, держится на расстоянии, не подпускает к себе; сейчас вот, видно, окончательно настроился на сон. По тону дыхания, однако, слышно, что он не спит. Притих, потом снова пошевелился, поправляя плед, и, воспользовавшись этим, я еще раз пытаюсь повлечь его в разговор.

— Извините, — говорю, — но вам, пожалуй, интересно будет знать, что один из предтеч космонавтики приходится мне близким земляком... Да, да, — отвечаю на его удивленный взгляд, — имею в виду именно того гениального самоучку, чье воображение еще в годы гражданской войны чертило на грубой бумаге столь смелые трассы для вас...

Космонавт, с полуслова поняв, о ком речь, тут же приподнялся, освободившись от своего невесомого скафандра. Нажав кнопку, поднял кресло, склонился ко мне:

— Значит, вы родом из Полтавы? Или из Малой Виски? — Во всяком случае с тех широт... — И вы его знали в молодости?

— Нет-нет, личным знакомством с ним похвастаться не могу, но кое-что из земляческих сказаний докатилось, кое-что слышал из людских уст...

— Вот случай! — восклицает космонавт и с жаром обращается ко мне: — Расскажите... Рассказывайте все, все... Это именно то, что давно меня интересует! Каждая мелочь здесь важна, малейшие крохи... Ведь это человек-легенда, а у нас о нем такие скудные сведения!

Собственно, и я о своем загадочном земляке немногое знаю, к тому же не всегда в слышанном различаешь, где факты, а где домыслы, полупредания...

— Кочегаром он был у нас на сахарном заводе, — припоминаю сведения, полученные от земляков, — затем механиком... А к небу он всегда имел тяготение. Управится в паровичне, то есть в котельне, заберется на крышу и до поздней ночи Луну рассматривает в самодельную подзорную трубу...

— Ну а собой каким он был? Что чудяком его считали, человеком не от мира сего, это известно, а вот попросту, по-житейски?.. Каким его рисует народная молва?

— Рисует юношей высоким, чубастым, нрава был веселого, компанейского... Хотя и тиф перенес, а все в работе, все что-то мастерит — руки имел просто золотые. В трудную минуту каждому из товарищей готов был помочь, не ожидая потом никакой благодарности за это. Вообще, как уверяют, все материальное для него было ничем, то, что мы называем бытом, для него не имело никакого значения... А вот на чью-то беду откликнуться, пососедействовать в чем-либо пусть и малознакомому человеку, о, в этом он был находчив, тут уж он давал волю своей изобретательности... Хозяйки, у которых он квартировал, и дети их до сих пор вспоминают своего жильца, никак не нахвалятся: стулья, скамейки, кастрюли — все, бывало, поремонтирует, наладит собственными руками. На какую вещь только глазом кинет, так и мудрит, как бы улучшить, усовершенствовать ее, чтоб человеку легче, сподручней было. Рассказывают, какие он хорошие жерна-жернова, то есть ручные мельницы, людям делал, ведь трудные то были времена. Изобрел и в котельной остроумное механи-

ческое устройство, чтобы облегчить труд кочегаров, затем предложил пневматический способ очистки дымогарных труб... Одним словом, можно о нем сказать, что был этот человек чем-то большим, нежели человек, вроде сам дух неуемных исканий воплотился в нем, дух творческой одержимости, устремленности в дали какие-то иные, запредельные...

— Вспомните, пожалуйста, еще что-нибудь, — распалается в своем любопытстве космонавт. — Нам, разумеется, известны его публикации, но то ведь труды более позднего периода...

— С идеей космических полетов он не расставался с тех пор, когда, будучи гимназистом, прочитал фантастический роман о сооружении грандиозного тоннеля под Атлантикой, под этим вот океаном, бушующим где-то там внизу. Тоннель, который соединил бы два континента, нашему энтузиасту не казался фантасти-

— Видимо, да, так как, рассказывают, он песни любил петь, мастерит что-нибудь и напевает, а ведь это признак влюбленности... После тифа говорят, только встал на ноги, худющий, изможденный, уже давай дрова рубить во дворе квартирной хозяйке, а между делом, свею отдохнуть, всю улицу развлекает душищипательным романсом, одним из модных в те годы. Видно, что умел радоваться жизни, наполненно жил, хотя и крайне непритязательно: все лето в одежде брезентовой, замасленной, в гетрах с толкучки, а зимой в огромном кожаном, который друзья называли «ротондой», — это когда он уж на Алтае элеваторы строил...

— Пришлось мне видеть один из тех элеваторов, — улыбается космонавт. — Местные детишки «мастодонтом» прозвали это сооружение за его странную удлинненную форму... А между тем сооружение весьма остроумное, оригинальной конструкции, сплоское из дерева рубленое, без единого гвоздя, ведь тогда республика и в гвоздях испытывала нехватку.

Загадки, загадки... Увлеченно предаваясь земному, на каждом шагу что-то изобретая, совершенствуя, возводя, он ни на миг не забывал о самом заветном, звездном своем, о том, что, из чертежей да формул по ночам добытое, ложилось потом в школьную тетрадь, как алгеброй поверенная гармония, как венец многолетних человеческих устремлений...

— Ни признания, ни наград получить не успел, а между тем без его усилий разве не отодвинулись бы на неопределенное время все наши полеты? — с нескрываемым сожалением размыш-

ГЕНИЙ В ОБМОТКАХ

кой, недостижимой мечтой. Но откуда же было взять колоссальное количество энергии для строительства подобного размаха? Вот тогда-то и озарила его мысль спроектировать глубоководную шахту, направленную к центру Земли, чтобы добыть оттуда необходимую для предстоящего трансконтинентального строительства энергию недр, а в дальнейшей использовать ее, то есть теплоту земного ядра, для реализации еще более смелого замысла — для полетов к соседним планетам Солнечной системы...

— Что ему там надо было, на других планетах? — неожиданно и несколько бестактно врывается в наш разговор стюардесса, стремительно появляясь у нас из-за спин и не скрывая, что ей удалось кое-что услышать из того, что ее совсем не касалось. — На Земле столько неурядиц, а им другие планеты подавай!.. — Последние слова она, удаляясь, бросила в нашу сторону почти сердито.

Удивленные, мы с соседом переглянулись в недоумении: почему, мол, эта милая особа вдруг разгневалась? Улыбнувшись, космонавт заметил, что некоторым девушкам гнев даже к лицу.

«А впрочем, так ли уж она и не права в своем замечании? — подумалось мне. — В самом деле, ведь столько на планете нерешенных проблем, сегодняшних и завтрашних, а нам бы скорее вырваться за пределы земные... Рвемся к звездам, а дорогу к собственной душе так ли уж извездали?..»

— Невероятно, что в XX веке, во времена цивилизованные, может столь быстро затеряться след человека, — в раздумье снова заговорил космонавт. — Наш современник, мог бы ведь еще и сегодня жить... Столько сделал для нас, а мы так непростительно мало знаем о нем... Нам трассы открывал, а жизнь его собственная остается, по существу, непознанной, полной загадок и тайн...

— Свершалась как-то странно, вроде таинственно и от нас ушла бы еще в большей таинственности...

— А как вы думаете, любил ли он кого? Неужто он не знал любви?

До меня доходили лишь отзвуки кое-какие на этот счет. Была будто бы та, что влюбленно, терпеливо ждала его в течение лет, а он все где-то бурлаковал*, неумоимо искал себя и свою мечту, строил элеваторы, затем проектировал по заданию наркома мощную ветрозенергетическую станцию, какое-то гигантское крылатое сооружение, которое должно было увенчать собою вершину Ай-Петри... Жил среди фантазий, а от любви вроде бы убегал, друзья даже шутили: «Да он же суженый звездный!..»

Неизвестно, кем и когда оброненная шутка эта нравится космонавту, однако услышать он предпочел бы что-нибудь более достоверное, более близкое к фактам.

— Вот как вы думаете, извездил ли тот «суженый звезды» чувство земное, чисто человеческое чувство любви?

ляет космонавт. — И трудно понять, почему такого уникального человека не удержали в 41-м от намерения идти в народное ополчение...

— Не забываете, какое то было время, — говорю космонавту. — Враг стоял под Москвой.

— Я понимаю, что война диктовала свои законы, — размышляет он. — И все же служебные лица, которые его отправляли с маршевой ротой, должны были бы разобраться, кто есть кто. Упрек его будто относится и ко мне.

— Говорят, его удерживали, но разве такого удержать? Да еще в ополчение, оставляя дома матерей, жен, детей... И разве мог он, человек такой совести, такой целеустремленности, искать в той обстановке каких-то льгот для себя или преимуществ? Вы же чувствуете, какой это был человек...

Мы сидим с соседом, уже близко склонившись друг к другу, оба мы захвачены сейчас образом того человека, может, и на фронт уходившего с мыслью о звездах, захвачены той третьей жизнью, которая будто тоже рядом с нами над океаном летит. Присутствие той, третьей жизни вроде и нас сближает, роднит, и вместе с тем она не поддается, чтобы мы до конца разгадали ее.

Воображение человеческого устало не знает, и вот наступает какой-то момент, когда реальность салона странным образом преображается: нет уже ни сплещих, покрытых пледами людей, нет ровного гудения двигателей, несущих нас сквозь тьму над океаном, вместо этого возникает передо мной в серой шинели связист из нашей фронтовой части, он точь-в-точь похож на моего друга пехотинца Шамра... Их уже и не разделить. И ополченец-ученый, чью жизнь мы только что пытались разгадать, и измученный пехотинец, отец оставленных дома детей, — оба они сейчас для меня уникальны, оба сливаются передо мной в единственный, неразделимый образ изможденного высокого человека в обмотках, который шагает куда-то под осенним дождем в своей насквозь промокшей шинели без хлястика, в измятой, потерявшей форму пилотке, с катушкой телефонного кабеля на спине... Это идет он, пехотный связист 41-го года. Идет под холодным нескончаемым дождем в ночь непроглядную, где только грязница чавкает под ногами, хлопая до колен, поналипнув на обмотках тяжелыми комьями. Случится болото — шагай вброд через болото, а сойдутся перед тобой кусты — продержись сквозь колючку да все дальше иди, да все быстрее, быстрее, быстрее, ибо это ваш форсированный ночной марш, ибо где-то там ждут от вас помощи и спасения. А если, уж совсем изнемогшие, насквозь промокшие от дождя и собственного пота, получите вы разрешение на привал, то падаете, где кто остановился, где кого застала команда, просто в грязьцу валитесь: ведь тщетно было бы здесь выбирать место, всюду вокруг тебя земля раскисшая, трясинная, всюду топь и топь. Падаем и от крайней тупой усталости засыпаем вмиг, уходим в сны еще быстрее, чем этот кос-

монавт, умеющий усилием воли программировать свой сон... Итак, мы там, среди дороги ночной, у нас привал, нас ждут миры чарующих сновидений. Кто-то кладет под голову отощавшую котомку солдатскую, кто-то вместо подушки использует свой кулак или катушку с телефонным кабелем, этот склонился на лежащего товарища, а тот на колени следующему, каждый лежит, прижимая винтовку к себе, прикрывая ее шинелью от дождя, и в позах этих, скрюченных, неестественных, свалившихся в грязьшу среди дороги, мы пребываем на вершинах блаженства: как самые дорогие дары судьбы, принимаем эти отпущенные нам минуты привала. И прежде чем нам подадут команду «вставай!», прежде чем разбитая, раскисшая от дождей полевая дорога согреется от наших тел, мы успеваем — за какие-то считанные минуты — выйти из ужасов реальности, погрузившись с головой в забыть, успеваем увидеть при этом даже сны, — то были самые сладкие в мире сны, сны наших былых радостей, дружб и привязанностей, золотые видения недостижимых домашних очагов...

Высокий истощенный связист, на котором шинель висит, будто на палке, которого катушка телефонного кабеля делает горбатым, он шагает передо мной, шагает тяжело, еле держась на своих тонких донкихотских ногах, в облипших грязью до самых колен обмотках. И все же после привала он словно бы и духом окреп, прежде был молчалив, а теперь повеселевшим голосом обращается к своим связистам, обещая им со временем изобрести иной, куда более легкий и, возможно, самый надежный способ связи между людьми. А если кто бросит шутя на ходу — ну это, братцы, среди нас объявился «гений в обмотках», то он и не обидится ничуть, только «гений в обмотках» так уже к нему и прилипнет. Несмотря на крайне изможденный вид, выносливость его удивительна, живет в нем настоящая двужильность, идет под такой тяжестью, а жалобы от него не услышишь, только когда чужие ракеты станут зловецше вспарывать ночь над близлежащим угольно-темным лесом, ночной безмятный товарищ мой тихо вздохнет, обращаясь ко мне: «Уже недалеко».

На рассвете мы входим в лес, входим будто в готический собор, ибо так высока тут стройность могучих, еще не тронутых войной маковых сосен.

Ночь на исходе, дождь наконец прекратился, меж верхушками леса проблескивает звезда, одна, затем другая, они на редкость ясные, алмазно-чистые после дождя. Долговязый связист прилег среди товарищей на лужайке, смотрит вверх на те звезды, на их прелестное далекое мерцание, и мы видим на его заросшем лице, на потемневших устах подобие улыбки.

Будет потом внезапный, как всегда, приказ немедленно прокладывать линию связи, и длинноногий связист наш пустится трусцой вдоль опушки, двигаясь неумело, открыто, точно живая мишень, в своей перекошенной, забрызганной грязью шинели. Несмотря, однако, на внешнюю свою вроде бы неуклюжесть, он кабель-таки проложит, связь установит, обнаружив при этом неожиданную ловкость. Но только вернулся, как снова кто-то там подает зычный голос: «Порыв! Связь порвало! Давай связь!» Кому же теперь бежать, чтобы соединить, восстановить где-то там поврежденную вражеским металлом линию? И снова подымается он, которого в дороге товарищи с симпатией называли гением в обмотках, подымается сам, добровольно. Взглянул вверх, улыбнулся кому-то и неиступанно, вроде под защитой звезды, снова пустился трусцой по опушке искать поврежденное место. Все наблюдали, как он, подобрав шинель, побежал и побежал, почти не пригибаясь, не прячась. Да вот остановился, кажется, нашел, что искал...

А когда, скошенный пулеметной очередью, он упал с ниткой кабеля в руке, упал на месте, не одна звезда вздрогнула в расцветающем небе над верхушками этих маковых сосен!

Казалось бы, все. Но и после этого он какое-то время еще вроде присутствует в нашем лайнере, сидит где-то там в одном из передних кресел, сидит как был — в шинели, в обмотках, еле прикрытых казенным пледом.

— Гений в обмотках — это верно, — задумчиво произнесет космонавт. — В нем вся эпоха... Весь дух ее, и порывы, и безмерность потерь...

Тихо в салоне. Неведомые нам сны людские, прикрывшись пледами, движутся в ровном ночном полете.

А мне все думается о нем: с чем же этот странный земляк мой все-таки надеялся встретиться на иных планетах, чего там искал? Может, каких-то радостей неземных, какого-то еще неведомого, самого полного счастья, которого он был лишен в своей короткой и загадочной жизни?

— Что там? — отшторив стекло, наклоняется через меня к иллюминатору космонавт, и на сей раз мы вместе, испытывая почти дружескую близость, смотрим за борт. Во все стороны — ночь, мерцающая бездна. Время от времени какие-то короткие всплески багрово-красного цвета пробегают по крылу — гроза, что ли?

А глубоко внизу, в недрах тьмы, глаза наши сами собой ищут чего-то. Не той ли серебристой ниточки родной Реки, которая из далей земных являлась этому юноше космонавту, когда он мчался на звездных трассах...

* От бурлакувати (укр.) — жить бобылем.